

# Рустам МАВЛИХАНОВ

Родился в 1978 году в Салавате, Башкортостан. Учился в Башкирском госуниверситете. Работал в заповеднике, сюрвейером в инспекционной конторе, инструктором по туризму в экотуризме.

Публиковался в журналах и альманахах «Журнал поэтов», «Нижний Новгород», «Бельские просторы», «Балтика», «Сура», «Воскресенье», «Изящная словесность», «ЛиФФт», еженедельнике «Истоки».

Живет в Салавате.

## СВОИ

Это был её шанс. Ничтожный, фантастический, но шанс. Какой выпадает раз в несколько жизней. Если местные ламы не врут.

Сретенск – место, где встречаются железная, кровавая дорога и чистая река, городишко, зажатый меж сопок, – разгорался с окраин. Огонь медленно подступал к десятку «дворцов» провинциальных нуворишей и нелепой одинокой триумфальной арке – сюда когда-то, вечность назад, изволили припереться наследник престола. Обыватели прятались по погребам, обороняющиеся стягивались к пристани, на которой не оказалось парохода, обещанного местным промышленником. Впрочем, он уже висел на своих воротах – между вензелей и уточек.

Окраины огрызались. Зло плевали пушки белых казаков с сопок, отчаянно стрекотал пулемёт у депо. Безнадёжно. Было бы дело где-нибудь на Волге, там ещё, может, и пощадили бы – там красных лишь ставили к стенке или топили на баржах. Но тут расправа была по-даурски суровой. Тем более над своими, над красными казаками – без пролития крови, с перерезанными сухожилиями, вниз головой: «бешеный барон» был мистиком, «предателей России» вешал как на XII аркане Таро. А семёновцы ещё и кишки выпустят.

И вот теперь напротив Али сидел шанс. Ничтожный. Который можно даже не принимать во внимание. Надёжней застрелиться.

Дурак Андоверов! Говорили же ему: собери своих, отобьёмся, уйдём по Шилке в Китай, а там – православные направо, ваши – налево! Их же полно – тут, в Сретенске, чуть ли не вторая черта оседлости. Ссылные. Как рассказывал ей муж, там, в западной черте оседлости, у них ни денег, ни оружия отбиться от погромщиков. Вот они и старались попасть в ссылку, во «внутреннюю эмиграцию» – здесь ружьё у каждого: тайга! А в тайге – золото.

Отбились бы. Хоть как, но отбились. Но нет, упёрся, куркуль, с краснопузыми-де дела не вожу, свои люди, сочтёмся. Золотом счесться хотел, дурак. А теперь атаман будет их крестить – «или огнём, или водой». Им повезёт, если водой – хоть не заживо гореть.

Могла ли знать дочь самарского юриста, сколько огня и воды принесёт ей любовь. Муж заразил её интересом к Востоку, она выучила японский и монгольский, и когда его сослали в Сибирь – без раздумий, как в ангарскую прорубь головой, поехала с ним. Заре своей жизни навстречу. Первые три года – огонь в печурке, пара картофелин на ужин, шаль на плечах, зябнувшие пальцы, которые он отогревал своим дыханием. Потом, после конца срока, – ночные костры в экспедициях, израненные руки в бамбуковых джунглях Сахалина, амурские мэри, соляные топи Барун-Торея, тигриный рык, отзывающийся вибрацией в животе, реки, закипающие нерестящейся кетой, а по утрам – синие моря полубезымянных хребтов до самого края мира.

Когда мир превратился в войну, муж сделал свой выбор: и потому, что как исследователь и путешественник был скорее социалистом, и потому, что сочувствовал туземцам, цинично спаиваемым местными «рачительными хозяевами» – перекупщиками пушнины. Он понимал их: самогоном платить экономней. Но не принимал.

А война загнала их в Сретенск. Место сретения жизни и смерти.

Где она встретила свой шанс. Своё зеркало. Несостоявшуюся подругу. Такую же, как она, закинутую любовью к чёрту на кулички – или к дьяволу в печень. Аля ещё раз перечитала документ: «Анна Пакшина. Фельдшер 3-го класса медицинской службы императорского флота». Рост, вес, цвет глаз, возраст – всё совпадало. Цвет волос отличался, но сейчас тиф гуляет – все выбриты налысо. А в остальном – почти копия. Русские отличат сразу, но фотокарточки к документу не прилагается, а для японцев мы все на одно лицо. Может, «муж» Анны и отличил бы, но вон он – лежит в углу двора без головы и без мундира: очередной безвестный «китаец», каких тысячи сгинуло в русской гражданской войне.

Уроженка Барнаула, жила во Владивостоке, потом в Харбине... Допрашивать Анну было легко: в её глазах читалось настолько лютное, чуть ли не животное желание жить, что даже не пришлось бить – достаточно было направить маузер в лоб. В 1910-м, во время маньчжурского мора, работала в противочумном отряде Марии Лебедевой. После гибели врача («надо же, в 35 лет – как нам с ней сейчас») завербовалась к японцам, славившимся жестоким карантинном, – на большую землю было не выбраться. Барон Китасато Сибасабуру, глава японского отряда, взял Анну под крыло: санитары вымирали целыми госпиталями, и лишние руки были в цене. На международной конференции эпидемиологов в Мукдене (подумать только: врачи со всего мира поехали в брюхо к самой Чуме!) познакомилась с лейтенантом медицинской службы флота. Влюбилась, он стал её содержать и всюду возить с собой: Токио, Гонконг, десант на германских островах в Тихом океане, интервенция в Россию. И вот – Сретенск. Конец карьеры.

Попались они глупо: занимались любовью в вагоне, когда на станцию накатили красные. Любовь была, похоже, в японском стиле – с игровым насилием – и кончилась по-японски:

– Прости, Рюкити, – сказала Аня, приставив к его голове наган с одним патроном, – но жизнь я люблю больше.

– Это хорошо, что любит, – прокомментировал Але муж, сравнивая женщин. – Как там... жизнью жизнь поправ? Жить – это чудно. И чудно, – добавил он, отсекая голову японцу: чтобы не опознали.

Теперь выбирать предстояло Але... Надёжней бы пулю – вот сюда, в ямку над ключицей, сверху вниз, в сердце – не обезобразить грудь.

Остаться красивой навсегда. Но... он завещал: «Прощай, товарищ жена. Выберешься – помнишь ту ступу на перешейке между Зун и Барун Торееми, где нас лама обвенчал? Я там у деревца – оно одно, не ошибёшься, – закопал свои заметки. Попытайся забрать их. Когда всё успокоится. Сильно не рискуй».

Значит, так тому и быть.

А медицину подучит. Хотя бы в память об этой, напротив, на которую пора перестать смотреть как на человека. Потому что напротив – зеркало. А у женщины нет врага ближе, чем зеркало.

– Иди, – махнула Аля.

– Куда? – трясущимися губами, сухим горлом спросила Аня.

– Туда, – Аля кивнула на дверь. – Ты же хотела жить?

– А... – исподлобья взглянула Аня. – А... а моя одежда? – кивнула она на полевую форму.

– Времени нет, – звуки пожара приближались. Кажется, бой шёл уже вокруг банковской четырёхэтажки.

Анна подскочила. Боясь поверить, на негнущихся ногах пошла к выходу. Вот крыльцо – доска подгнила, гвоздь торчит, не наступить. Двор. Труп лошади, убитой осколком. Море её крови. Ещё тёплой... такой тёплой... такой нежной. Яркое, до одури, серое небо. Какое-то тело в углу, без головы. Как же его звали?.. Запах гари. Сладкий запах гари. Не надыхаться... Проём ворот. Всё ближе. Пять шагов. Четыре. Свет! Свобода! Я жива!!!

Выстрел удачно снёс половину головы. Аля подбежала и разрядила остатки барабана в лицо. Деловито, без ненависти – не до неё, когда нужно быстро становиться Анной, фельдшером 3-го класса императорской армии... стоп, флота! Застыла на секунду: тело, в одном исподнем, быстро наливавшемся кровью, было красивым – ему бы жить и жить. Мёртвый глаз лошади блестел укоризной.

«Извини, – застыла она на мгновение. – Так... Собралась! – скомандовала себе. – Что со мной делали “красные палачи”? Чёрт, надо было раньше об этом позаботиться, пока мой жив был! А он смог бы?»

Аля – нет, уже Аня – два раза глубоко вдохнула-выдохнула и прижала ещё горячий ствол к животу. Боль чуть не согнула пополам, но – время! Забежать в дом, надеть японскую форму, достать кочергу из печки – «помнишь вечера в ссылке? шаль... боже, верни меня в ту шаль...» – приложить к бёдрам, отдышаться, к спине, отдышаться, проклятье, надо было застрелиться, что сделать с лицом, чем себя ударить? документы! – в карман, взять нож, надрезать срамные губы, натянуть штаны обратно, выбежать во двор, плеснуть крови на промежность... топот у ворот. Всё.

– Ух, глянть какая! – прозвучал зычный голос. Гнедая туша толкнула её на землю, копыто мелькнуло над головой. – А ну, вставай, подстилка большевицкая! Втопчу!

Аля приподнялась, казак перегнулся, схватил её за ворот и ударил о стремя. Кровь хлынула из рассечённой брови.

– Чё, не навалаясь под красными? – ухмыльнулся он в усы. – Ничё, под нами полежишь! Пшла!

Женщина утёрла лицо, вышла за ворота, направо. Камни впивались в босые ноги, напоминая: ты ещё жива. Но... свинцовое небо, боль от ожогов, вонь горящих домов, хлевов, плоти, рёв запертой скотины, вой молодой, которых за волосы оттаскивали от семей, тёмная река, набираемая мужиками, бабами пострашней, детьми – «всё-таки водой», –

мат... её, красные, казаки, уже голые, уже кастрированные, уже вниз головой... муж? да, это он, эту руку, нелепо лежащую около иссечённого, но ещё дышащего тела, она узнала бы из тысячи, – и солнце, приближающееся из-за туч и дыма.

– До последнего стоял, отстреливался, – кивнул усатый конвоир молодому.

– Так ведь он свой, тоже казак... наверное... – просипел тот.

– Тыфу ты! Был бы чужой, китаёз какой, – прогнали бы в евонный Китай! А своих куды прогонишь со своей земли? Только в землю!

– Та я не о том! Может, кончить его, что ж так мучить-то? – возразил молодой.

– А пуцай полежит, подумает, как против нас идтить! – гоготнул усач.

И Аля решила: она будет жить. Она пройдёт все допросы – вон, навстречу уже спешит офицер, он заберёт её, патриоты побоятся конфликтовать с японцами, – а потом переживёт и японские пытки, и выйдет с новым именем, и будет жить – это обещает золотой закатный свет, заливающий изумрудные сопки, этого требует Река, которую заставили уносить тела баб и мужиков... Жить. Хотя бы для того, чтобы вырвать плотку у этого гарцеватого гоготуна, затолкать трахею в его жену, закопать их в землю.

Потому что он тоже свой.

Потому что гражданские войны не кончаются никогда.

### **Примечания.**

*Сретенск* – город в Забайкалье.

*Андоверов Яков* – «патриарх» богачей Сретенска, из ссыльных евреев.

*Барун-Торей* и *Зун-Торей* – озёра в Даурии.

*Марь* – разновидность болотного ландшафта.

*Лебедева Мария Александровна (1875–1911)* – уроженка Нарыма (Томская губ.), врач, доктор медицины; после окончания Женевского университета служила доктором на Енисее; погибла в борьбе с маньчжурской чумой.

*Китасато Сибасабуро (1853–1931)* – японский врач, один из первооткрывателей (наряду с Йерсеном) возбудителя чумы.

# ЛЮБОВЬ ЦВЕТА ЗАКАТА

К закату любитя иначе. Не требовательно. Прощая грошковые грешки и старательно отворачиваясь от шкафов, набитых скелетами. Наверное, потому, что уже не строишь планов на будущее: день прошёл с лампою любви в руках, и хорошо. А завтра оставим завтрашним нам.

Нет, страсть есть – в этом возрасте она знает, что ей нужно, и знает, как желаемое получить, не мучается, как лет в двадцать, в серебряной юности, вопросом, чего же ей хочется и хочется ли чего-то. Но то ночью и в постели – смятой, лихорадочной, в которой её тело разрывается и проступает вечно молодая Она: преданная на эту короткую бесконечность и отдающаяся на минутное «всегда».

А при свете дня она другая. Не раздражается. Не ищет своего. Но помнит о себе.

– Детей заберёшь с собой? – смотрю на её руки: обветрелые, с мозолью на указательном пальце. Если бы умел рисовать – рисовал бы человеческие руки.

Она перебирает соль в солонке. Отделяет травинки, песчинки, мусор, хвою. Урок мелкой моторики и способ не думать лишнего. В небольшом фарфоровом соуснике растёт, крупинка за крупинкой, горка – белой, чистой, святой... Если осталось хоть что-то святое в мире, где знания стали праздны, грядущее прекратилось, а язык предпочитает молчать.

Молчит и она.

Тихо молчат, боясь спугнуть мгновение уюта, голубые глаза.

Улыбка несмело блуждает в уголках губ. Лишь морщинки у век подрагивают чертенятами.

Да родинка на шее влечёт, пробуждая древнее, драконье чувство в чреслах.

– Нет, – отвечает она, тщательно всё обдумав. – Я бы позвала тебя с собой, но...

– Приревнуют?

– Да.

Холодный ветер бьёт в заколоченные окна вагона.

– Забавно. Вся жизнь меня ревновали те, у кого не было повода, и не ревновали те, у кого была причина. Но ты права. Конфликт на борту – корабль ко дну.

– Поясни, – просит минуту спустя, выкладывая рожицу из кристаллов соли.

– Давно... в той жизни... я работал на корабле. И там мне показалось, что есть неписанный морской закон... Если у кого-то к кому-то появлялись претензии, то он никогда не высказывал их напрямую – их озвучивали через день-два, через третье лицо, боцмана или старпома, жёстко, но давая возможность сохранить лицо. Потому что если тот же

моторист психанёт, то... у него много возможностей поставить всем жирную точку. Поэтому, кстати, команды кораблей, идущих мимо Сомали, никогда не вооружали – от греха подальше. А то случилось бы как у Высоцкого.

Приподнимает брови, впервые оторвав взгляд от соли.

– Капитана в тот день называли на «ты», бесновались матросы на вантах, – цитирую В. С.

– А теперь никому не хватило земли – ни колумбовой, ни магеланной, – завершает она. – Ты так и не сказал: почему остался один?

– Лошадей пожалел, нарушил приказ.

– Лошадей?!

– Да. Мы с Нижнего пробивались... Где-то там наткнулись на частный конный заводец. Отборные рысаки! Что Славутич – мышастой масти со стальным отливом. Дурной, правда, упрямый. Как в воду войдёт – скачет, будто стреноженный. Наверное, ему путы на ногах чудились... А ещё Рыжик – гнедой, с белыми чулками, поджарый, бежит – мышцы словно волнами переливаются! Совсем как твои бёдра!

– Не отвлекайся, – отводит она мою руку. – Зачем вам кони, что дальше было?

– Хозяина упокоили, животину спасли. Организовали разведку. Почему-то для местных езда верхом – целое искусство, вот меня и назначили в неё. Зачем? Уклоняться от этих. Если смотреть в оба, то можно просочиться лесами.

– Умно-о, – констатирует. – А мы пытались в доме тихо пересидеть. Там нас и взяли в осаду. Пошли на прорыв. Половиной своих и удобрили поле... зелёное. С озимыми.

– Умно, не умно... нас ведь тоже прижали. Может, эти и не семи пядей во лбу, но загонять умеют. Да и кони выдохлись. Даже если опушками двигаться, то всё равно вязнут на каждом шаге. – Отдираю кусок пластика от стола. – Тут не земля, а чёрт пойми что. Там, откуда я, там чернозёмы и суглинки, грязь налипает на ноги, а тут – проваливаешься по щиколотку. Супесь. Болото. Как тут танки ездили?!

– Вот так и мучились – давились и жучились. – Она неожиданно, змеиным броском, щиплет за плечо и – уже миролюбиво – тянет мою руку, укладывает на столешнице, пристраивается головой к ладони: – Можно? Так вкусно про коней рассказываешь – расскажи ещё.

– Колбасы захотела? – подтруниваю.

Резко поворачивает голову. Всматривается.

– Конской, – поясняю я. – Никогда не ела?

– А... нет. Но захотела, – глядит с вызовом. Прикусив губу.

– Была там ещё изабелловая лошадь. Жемчужина. Просто жемчужина, – я провожу по её щеке загрубелой ладонью, но она отзывается, подаётся навстречу. – Она долго шла за нами. Держалась в отдалении, звала.

– Выжила? – вопрос тих, дремотен, бархатен.

– Надеюсь. Они же быстрые. Однажды утром взяли и ушли втроём за речку. Там места вроде дикие, этих быть не должно. Жаль будет, если погибнут.

– А твои куда делись? – подставляет затылок под руку.

– А псы их знают! – запускаю пятерню под волосы. – Может, сожрали их, может – за вон те холмы ушли, – машу куда-то на северо-восток, в ту сторону, где у стены еле слышно потрескивает буржуйка. – Проснулся как-то, смотрю – только палатка сожжённая и куча следов.

Если бы эти набежали, то... Спасибо хоть не связали, чтобы оторваться от них.

– Жёстче, – просит она. Я собираю волосы в кулак и начинаю покачивать голову: её шея расслаблена, и чувствуется, как с похрустом позвонков нега стекает по телу вниз и пропитывает мозг, изгоняя мысли, которые нет смысла думать. – Подожди, – прерывает она то ли меня, то ли себя, снимает кобуру, кладёт на стол. – А дети откуда?

– Сами прибежали. Нормальные пацаны, соображают, что к чему: бойкие, даже борзые, активные, тихие. Им сколько, лет девять старшаку, наверное? Правда, у них малолетка громкий, всех под петлю подводит. Его бы воспитать резко – или... Пока они сами его не утопили.

– Или? – переспрашивает, замирает, словно ища что-то, находит, накрывает кобурой соль: – Вот теперь можно... Или, пока не сожрали эти, – всем лёгкой смерти?

– В принципе... Но ведь они как-то до сих пор выживали.

– Посмотрим. Может, и помогу. Так или иначе. Хочешь меня?

На закате любовь милосердна. Даже когда жестка и жестока.

\* \* \*

Где-то в чащобе, не по сезону, выли волки. Это хорошая примета: воют волки – значит, этих поблизости нет. Ветер стих. Я приоткрыл дверь, разминая сырую сигарету: на закате, в небе цвета весеннего льда, одиноко сияла Венера. Затворил – от холодного металла заныли суставы пальцев, – вернулся к нам, подкрутил фитиль в консервной банке и только тогда закурил: дым, как и огонёк, тоже чувствуется за километры, но – волки же воют!

Стало светлей и уютней.

– Ирина! – позвал я тихо. – Спишь?

– Нет. Думаю.

– О чём?

– Тут иногда проходит поезд. Полубронированный. Его никто не трогает – ни наши, ни чужие. Ну, кроме этих, конечно. Я знаю помощника машиниста. Уважаемый человек – всегда в костюме и без автомата. Он как-то сказал: «Бог разгневался на нас, но в последний момент смилостивился и оставил нам связь»... А я подумала... нет, не за что, а почему всё так? Почему не сразу?

Замолкла. Значит, не риторический вопрос. Что же на него ответить? Что всё это – чума, в которой нет ничего героического?

– Конец света, – вспоминаю древнюю мысль, – это не массовый геноцид в считанные секунды. Конец света – это не поход стройными колоннами в рай. Это не списание всех долгов, не амнистия и не аудиенция у Бога. Конец света невозможно пережить как мгновение, легко и просто. Конец света – это начало долгой тьмы.

– Что это?

– Литания.

– Умеешь ты утешить... Так вот, – вернулась она на землю: – Раз есть связь, то есть и жизнь? Может, твою ребятню – туда?

– Они оттуда. Города есть – покажу на карте.

– Ну, тогда... – вздохнула она, скрывая печаль за мимолётной маской безразличия. Потянулась, заразительно позёывая, свернулась обратно калачиком: – Брр!.. А ты куда пойдёшь, домой?

– Вряд ли, через реку всего четыре моста, а значит – и эти. Может, где найду лодку, хотя там водохранилище – как целое море. Его речники в своё время опасались: на короткой волне баржи ломало. Но попытаться стоит.

– Зачем тебе это?

– Надо же куда-то идти. Я не умею перебирать соль.

Она резко встала, всунула ноги в берцы, накинула бушлат на голое тело – даже не будучи одним из этих, хотелось накинуться и овладеть им до последней жилки, до последнего хрящика, вонзить зубы в это живое, страстное, – прихватила пистолет, подошла к столу, плеснула еле тёплого кофе в кружку:

– Скорей бы эта весна кончилась. Достал этот холод. Оставь пару затяжек.

Прижал её к себе:

– Не мёрзни. Лето придёт, – отстранил чуть. – Пора пост сменить.

– Да, сейчас. Обними только крепче. На прощанье, – она потянула мою руку и уложила на грудь.

Сжал.

\* \* \*

На закате любитя иначе. Без веры и без отчаяния – но с безмолвной надеждой. Без гордости и зависти, без страха, но с яростью, без зла и, в общем-то, без добра. Не ради чего-то, не ради будущего, которого не настанет.

Лишь ради Неё самой.